

ЕФИМ ДУРОЦ



ДОЖДЬ  
ПОТОПАМ  
С  
СОЛНЦЕМ  
ДЕРЕВЕНСКИЙ ДНЕВНИК

Советский писатель  
Москва  
1973

## О ЕФИМЕ ЯКОВЛЕВИЧЕ ДОРОШЕ

Жить значило для Ефима Яковлевича мыслить, а мыслить — прежде всего понимать окружавшую его жизнь. Поэтому в своем творчестве он не столько изображал действительность, сколько наблюдал ее и размышлял о ней. Его творчество, во всяком случае в его зрелой поре, было своеобразным комментарием к жизни, но комментарием не ученым, сторонним и холодным, а комментарием ее участника. Вот почему он назвал эту книгу, — книгу, которая сейчас в руках у читателя, — «дневником».

Форма дневника больше всего соответствует духу его творчества. Дневник пишется для себя. Если он пишется для других, то непременно появятся рисовка и писательское кокетство. Это уже не дневник. Дорош хотя и писал свой дневник для других, но как бы и для себя: без всякой попытки изобразить себя в выгодном свете или создать интересный «образ автора». Он не создавал образа автора или образа рассказчика, так как по своей искренности и непосредственности не мог играть никакой роли: он больше чувствовал себя собеседником читателя, его хорошим знакомым, чем «автором». И персонажи его произведений — не персонажи. Для него они его знакомые и друзья, судьбой и делами которых он интересуется и стремится заинтересовать читателя. Дорош — сам читатель, «читатель жизни». И хотя весь дневник ведется от первого лица, мы очень мало узнаем из этого дневника о самом авторе: зачем живет он в деревне, почему так горячо интересуют его окружающие лица и окружающая жизнь? Собой он интересуется мало. И вот поэтому я все же должен сообщить читателям этой книги об одном внешнем факте его жизни — сообщить поддержкой из его неизданных «Автобиографических заметок».

Вспоминая ранний период своего творчества, Ефим Яковлевич писал:

«В те годы мне казалось, что то, о чем я должен писать, находится где-то далеко, что и места и события, какие там происходят, должны быть если и не исключительные, то уж, во всяком случае, мало похожие на то, среди чего я постоянно живу и что происходит вокруг меня. В сущности, предмет литературы представлялся мне несколько экзотическим.

Быть может, это происходило еще и оттого, что мои отношения с жизнью, о которой я собирался писать, были отношениями человека, специально выезжавшего в командировку за необыкновенным материалом.

И еще мне тогда представлялось, что сперва необходимо как бы сконструировать каркас будущего рассказа или очерка, а потом заполнить его материалом — точным, взятым из действительности, но все же собираемым для заранее приготовленной конструкции. То есть подробности жизни подкрепляли мысль, тогда как она должна была бы из них вытекать.

То ли поэтому, то ли по иной причине, но к началу пятидесятых годов я стал ощущать, что между написанным мною и действительностью есть

некое несовпадение, вернее сказать, что они соотносятся между собой как сделанное и естественное. При всем том, что литература, подобно всякому искусству, есть сделанность, все же истинная реалистическая проза, ничуть не копируя действительность, что вообще-то и невозможно, свободна и не задана, как сама жизнь».

— Далее Е. Я. Дорош пишет, как весной 1952 года он выехал по командировке «Литературной газеты» на посевную в Саратовскую область. Застрыв в одном из колхозов на два месяца, он приобщился к будням сельской жизни, к ее «обыкновенности».

«Но вот эта-то обыкновенность окружающего и то, что каждый день мой здесь был так же обыкновенен,— писал он,— состоял из наблюдений природы и разговоров обо всем на свете с ничем не выдававшимися из ряда людьми,— вот в этом-то и заключалась, как я все отчетливее ощущал, привлекательность моего здешнего существования. Однажды я решил, что так и стану жить впредь — выберу себе некий район в центре нечерноземной России, из тех, о которых обычно ни в московских газетах не пишут, ни в повестях и романах, и буду туда наезжать время от времени.

Я вспомнил Вермеера Дельфтского, все известные мне картины которого написаны, как я представлял себе, в одной и той же комнате; я думал о барбизонцах, переселившихся из Парижа в деревню, чтобы ближе наблюдать природу; на мысль приходили мне и «Письма с мельницы» Альфонса Доде, объединенные местом, где поселился автор».

Это место его «Автобиографических заметок» очень значительно. Оно во многом объясняет не только его писательскую позицию, но и жизненную судьбу.

Дорош осуществил то, что решил. Он выбрал себе древний край русского земледелия,— место под Ростовом Великим, и не только постоянно наезжал туда, но и подолгу там жил — все в одном и том же селе или рядом, в Ростове. В своем дневнике он называет Ростов Великий Райгородом, и, мне кажется, не легко далось ему это переименование. Он не любил не только переименований, но не любил вообще придумывать и выдумывать. Он считал, что должен писать только о том, что есть, было и будет. В этом была его главная писательская убежденность. «В предлагаемом читателю дневнике нет и строчки вымысла...» — писал он.

И здесь мне хочется вернуться к мысли, с которой я начал,— Е. Я. Дорош не изображал жизнь и не выдумывал: он шел к ней своими размышлениями. Он шел к ней, подставляя себя всего всем встречным впечатлениям, дурным и хорошим, дождю и солнцу — двум живительным началам плодородия в природе. Дальше всего он был от пассивного натурализма. Он был открывателем, но при этом меньше всего походил на путешественника или кочующего очеркиста. В его нравственном облике характерной чертой была оседлость. Именно поэтому он так любил земледельческий труд и самих земледельцев. Он не выходил за рамки местного материала. Он не писал понаслышке, о том, что знал недостаточно хорошо. Он не был туристом или человеком, приехавшим в деревню по командировке. Деревня около Райгорода была для него постоянным местом жительства и стала родиной.

Тысячелетнее прошлое тех мест, где он жил, было для него символом постоянства жизни. История была необходима ему для познания современности. Поэтому прошлое раскрывается для него и в отношении к этому прошлому. Главный вопрос для него состоит не только в том — как было, но и в том, как это прошлое живет сейчас, как оно отражается в современности, как его изучают, берегут, понимают.

Субъективизм в сельском хозяйстве связан для него с отрывом от истории, от традиций культуры, которую он понимает широко — и как культуру труда и мышления.

Современность для него — труд, повседневная работа. Современность переплетается с историей. История — одно из средств познать современность. История — это и история искусства, и история обычаев, и история трудовых навыков, и история хозяйствования. Прошлое — и в земледелии, в самой почве, удобрявшейся и удобренной веками, и даже в культуре владимирской вишни, вывезенной с юга еще при Андрее Боголюбском.

Прошлое он не эстетизирует. Это для него не модное, снобистское увлечение. Он стал писать о древнерусском искусстве еще до всяких мод на него. Икона не стоит для него поэтому рядом с полотнами Матисса, хотя он и пишет, что Матисс интересовался иконой, а рядом с традиционным убранством крестьянской избы, рядом с народным шитьем и резьбой по дереву. Древнее искусство — не для немногих, а для многих и многих.

Может быть, благодаря такому взгляду на современность с высоты тысячелетней истории в его дневнике нет ни суетности, ни торопливости. В нем нет стремления во что бы то ни стало поразить читателя новым для него словом или писательским приемом. Напротив, он всегда рад, если о чем-то уже было написано, если есть возможность сослаться на прежних авторов — будь то Глеб Успенский или автор писем «Из деревни» А. П. Энгельгардт.

В одном месте своего дневника он пишет: «И вдруг приходит ощущение счастья, чувство восторга от того, что подобное видели и Тургенев, и Толстой, и Бунин».

Как это хорошо! И как это выдает всю писательскую оседлость Ефима Яковлевича Дороша! Счастье от того, что об этом уже писали русские классики, счастье, что это нечто постоянное, освященное и освещенное историей русской литературы. Счастье ощущать себя в потоке истории, вместе со всеми. Он против неуважения к законам жизни и традициям литературы. Потому-то и нужна история, — история литературы в том числе.

Обаяние книги — в ее благожелательности: желания блага людям, всему происходящему. Эта благожелательность не примиренческая и не злобивая. Он возмущается всякой несправедливостью и дорого обходящейся людям самоуверенностью и всезнайством. Его творчество публицистично и деловито. Он ратует за новое, прочное новое, и поэтому благожелателен к тому доброму, что есть в старом. Но если в старом есть дурное, будь это хоть такая мелочь, как старинный обычай нанимать пастухов на стороне, — он против старого. Его книга руководствуется заботой о будущем и поэтому внимательна к традициям прошлого. Она непримирима и вместе с тем не узка, не замкнута в кругу предвзятых идей. Книги его интелли-

гентны в самом лучшем смысле этого слова, и он видит в передовых людях нашей деревни также думающих, интеллигентных людей.

Страница за страницей читая дневник, мы все больше проникаемся уважением к знакомым писателя, о которых он пишет,— и прежде всего к Ивану Федосеевичу. Это истый крестьянин и здраво думающий человек. Но вместе с тем мы проникаемся все бóльшим уважением и к самому автору дневника, к его уважению к людям, к его чувству равенства со своими героями, к тому, что он не прочь с ними посоветоваться, поучиться у них. Хотя нет у него и тени идеализации героев. Он заметит у них и недостатки, и темные стороны их быта.

Появляются у автора порой и злые мысли — о деятелях торговли или иных зазнавшихся местных руководителях,— но злые мысли эти неприятны ему не менее, чем факты, их вызвавшие.

Эти же черты, и в первую очередь отсутствие чувства собственного превосходства, подметил он у своих знакомцев и друзей, в первую очередь у Ивана Федосеевича и Николая Семеновича. Рассказывая о реставраторе Сергее Сергеевиче, беседующем с простой женщиной Натальей Кузьминичной (кстати, как мне нравится эта уважительная манера автора писать о своих героях, называя их по имени и отчеству!), он замечает: «Потому-то он, должно быть, так естественен и прост с нашей Натальей Кузьминичной, что не ставит себя по отношению к ней ни жрецом, знающим от нее скрытое, ни бардом, призванным ее воспевать».

Как это характерно и для самого Дороша! «Спесь на Руси всегда высеивали»,— это говорит Николай Семенович, и это принимает для себя автор дневника.

Заканчивая свои «Автобиографические заметки», Ефим Яковлевич писал: «Остается сказать, что именно тысячелетняя история Ростова помогла мне в этой моей работе (над «Деревенским дневником». — Д. Л.), потому что настоящее не существует отдельно от прошлого,— только в Ростове, где за тысячу лет сложилась высокая культура земледелия, я увидел в колхознике наследника многих поколений крестьян, буквально выстрадавших свои знания и умения. В Ростове же я понял и то, что чувство истории вмещает нечто большее, нежели просто любовь к старине, что оно является категорией нравственной, так как позволяет человеку ощущать себя наследником прошлого и сознавать свою ответственность перед будущим».

Наша эпоха такова, что понять и оценить ее нельзя в масштабах десятилетий или даже одного столетия. И книги умного и благожелательного писателя Е. Я. Дороша, написанные о нынешних переменах в нашем селе под знаком тысячелетней истории этого села, как и под знаком его будущего, надолго сохранят глубокий интерес для советского читателя.

2.XII.72 г.

Академик Д. С. Лихачев